

ПО ПОВОДУ АПОКАЛИПСИСА НАШЕГО ВРЕМЕНИ В. РОЗАНОВА

Религиозная мысль и настроенность русской интеллигенции в предреволюционные десятилетия определялись скрещением двух основных влияний — Достоевского и Вл. Соловьева. Но истинными героями религиозной трагедии жизни, биографически связавшими себя с мукой о Боге, были, конечно, Толстой и Розанов.

Достоевский и Вл. Соловьев, прежде всего — явления литературные. Диалектика и философская изобретательность загораживают непосредственное ощущение их личного опыта и жизненных образов. Оба они, и гностик Соловьев, и психоаналитик Достоевский связываются с окружением, литературной общественностью и направлением их времени. Толстой и Розанов, вопреки «толстовству» и яснополянской суете одного, «нововременству» и декаденству другого — остаются сами по себе, являются прежде всего субъектами и вершителями собственных биографий. Толстого выгородила отшельническая строгость; Розанова — самозащитное юродство.

В основе огромной личности Толстого лежала аскетическая страсть, так компромиссно и не до конца им осуществленная. Сама психологическая структура его — явно аскетического типа. В отгораживании себя от людей он искал опоры для своего гуманистического пафоса и проповедничества. И если Толстой до конца своей жизни позволял себе мириться с окружающими, подменяя монастырь и аскезу семьей и деревней, то причиной этому было не одно малодушие. Наивная, но строгая вера в свое общественное призвание, повидному, часто побеждала в Толстом его органическую тягу к личному подвигу.

Судьба Розанова была менее благоприятной. Ему всю жизнь пришлось околачиваться по редакциям и собраниям, одновременно среди жидоедов и революционеров, митрополитов и «богоскательей».

Отсюда защитная гримаса, двойничество, псевдопимы, болезненные прикидывания и возмутительные мистификации.

Для людей природно одиноких, находящихся в непрестанном «тайно-замкнутом» стоянии перед Богом, крокетство оказывается естественной мимикрией. Вся вывороченность и назойливое, почти интимничание Розанова определились нелепостью его биографии, которую ему, подобно Толстому, не удалось изменить. Он всю жизнь, как в ознобе, продрожал под ударами и тисками нечеловеческой руки, кривлялся и извивался в пожатии каменной доски с того света, лишь делая испуганно вид, что живет и ощущает со всеми и подобно всем. Иго и одновременная потребность одиночества и умение пребывать в нем независимо от всего окружающего — неожиданно сближают неподвижную фигуру Толстого с светляковой фигуркой Розанова. Есть аналогия и в конечных этапах их жизни; у Толстого смерть на пути в Оптину Пустынь; у Розанова — Сергиев Посад...

Можно ли походить на Достоевского или Соловьева, найти людей лично схожих с ними? Конечно нет. Они и индивидуально сложны, и переменчивы, и уже очень определены профессией; Достоевский — журнальной богемой, Соловьев — ученой. Но быть в типе Толстого или Розанова — это возможно и понятно. В русской типологии — их личности определены и даже классичны. Всякий, хотя бы, средний русский человек, если только он схвачен «томлением духа», должен в той или иной мере, на какой либо ступени своего духовного развития, пройти сквозь один из двух, а может быть и через оба типа религиозного опыта. Ведь между пафосом этического монизма, так часто замыкающимся в тупиках рациональных прописей, и неистовством мистагогии (граничащей с нигилизмом) всегда качалась и будет качаться стихия русского богосознания. Достоевский — роздал себя своим же героям. В итоге, за всеми призрачными персонажами, проблемами и идеями его романов, его личность развоплощается и гибнет. Рядом с галлереей фигур и вымыслов Достоевского, чудовищно-гипертрофированных и диспропорциональных, — сама биография их заклинателя и автора, становится неинтересной. Достоевский остается «сочинителем» даже в своих дневниках и статьях, в противно-

положность Толстому, который оголено проступает за спиной каждого выводимого им лица. Фантомы и порождения Достоевского отняли у него право говорить от самого себя, от собственного местоимения. Но уничтожив свое *я*, Достоевский, в то же время, не смог до конца реализоваться в создаваемом им искусственном мире. Его герои лишь недовольные призраки, бесы, маски от имени которых плетется сложная и путанная диалектическая сеть абстрактной философии. Романы Достоевского — не запечатленные куски жизни — а инсценированные психологемы. Все творчество его движимо каким-то магическим потоком психоаналитической импровизации, разжигаемой по инерции и по пути расширяющейся в сложные спекулятивные построения. В этом процессе есть покоряющая властность, но конечного *доверия* к себе — мир Достоевского не вызывает. Возникает сомнение: а может быть весь этот кошмар неправдоподобен, в самом существенном смысле слова — *не верен*. А что, если многообразие психологических коллизий, надрывов и истончений «Подростка», «Бесов», и «Братьев Карамазовых» есть лишь чудовищно-гениальный, актерский подмен, возводимый одним человеком на всех остальных ему *не* подобных? Пусть самые идеи Достоевского верны и общечеловечны, но разве именно *так*, в аспекте «достоевщины», живут они действительно в людях?... И если только отдался подобным сомнениям, то подлинность и достоверность психологического материала Достоевского безнадежно опорачивается, и исчезает гарантия опытной правды его «откровений».

В этом отношении Розанов противоположен Достоевскому. Он не разыгрывает мелодрам из воображения: подобно Толстому, ему чужд процесс автоматической импровизации. Он только «накрывает» и судорожно фиксирует свои наблюдения над собой, что и определяет фрагментарность его литературных приемов. Это же свойство так часто делало Толстого косноязычным и стилистически беспомощным. Ведь именно Толстой, а не Достоевский, — как принято считать — обладает трудным слогом. Достоевский — в сущности и многоречив и *красноречив*. Не этим-ли определяется любовь Достоевского к разного рода законченным формам речей, исповедей и декламации...

Но зато обнаженность и подлинность Толстого и Розанова, их свидетельства о душевном дне человека пожалуй не имеют себе равных. Они являются действительными субъектами небывалых че-

ловеческих исповедей, тогда как Достоевский сплошь и рядом может сам служить объектом научного медицинского рассмотрения и анализа.

Каждый человек — в целом — всегда определяется каким либо из своих возрастных этапов; характерные черты и существо каждой личности находят себе наиболее острое выражение в ту или иную пору жизни. Есть люди юношеского типа, есть зрелого и старческого. Толстой и Розанов — люди юношеского типа. Оба они в сущности так и не смогли духовно созреть и состариться, растянув на всю жизнь *Sturm- und - Drangperiode* своей молодости. Отсюда, при кажущейся сложности, — действительная элементарность их духовного процесса, бурная статичность вместо углубляющего развития, вызывающая запальчивость их общественных выступлений.

Развитию и созреванию Толстого помешало отсутствие духовной благодати. У Розанова был недостаток духовной сухости и четкости. Поэтому и остались они, каждый по своим немощам, лишь «около церковных стен». Но отлучая Толстого и в то же время мирясь с Розановым — православная иерархия показала, несмотря на кажущуюся непоследовательность, и справедливое чутье и мудрость. Это и оправдалось — опять таки в биографии Розанова: вскоре после появления «Апокалипсиса» он умер примиренный с церковью.

Розанов — юродствовал и кощунствовал *на людях*, в гуще церковной и приходской обывательщины, топтался и задирался среди людей, которые были по отношению к церкви «своими». Он чувствовал церковную массу, тянулся к давке и духоте церквей, жался к церковным службам. Это давало ему какое то право на ересь и вольномыслие. А представить себе Толстого в церковной толпе просто невозможно. Он прежде отлучения сам отделил себя не только от православного вероучения, но и от церковной толпы и оказался в трагическом уединенном плену, у своего же собственного беспомощного аскетизма. Церковь как бы подтвердила только его одиночество и оторванность. И все же, как строгий, коренастый Толстой, так и распущенный, щуплый Розанов — являются подлинными и единственными духовными гениями предреволюционной поры.

Религиозно-философское движение 90-900 гг., возникшее на почве эпигонных обработок проблем и идей Достоевского-Соловьева, — возлагавшейся на него исторической миссии совершить не сумело. Революция оттеснила и оборвала эту традицию. Одни ее представители — онемели; другие, — и именно те, что больше других приложили руку к революции — задыхаются от злобы. Лишь Н. Бердяев, обогатившийся новым церковным и социальным опытом, сохраняя, прежнюю установку, тем не менее чутко и остро переживает надвигающуюся эпоху.

Революция разоблачила многое; и прежде всего тех, для кого, выражаясь словом пынешних формалистов, Бог был приемом, все равно литературным, или стерильно диалектическим. Среди стольких пустоцветов и несостоявшихся духоводителей, только Толстой и Розанов — своим человеческим ростом — могут действительно учительствовать в будущее. Но это будущее должно, обновлением всей культурной традиции, застраховаться и от возможности новых срывов, подобно тем, что пережили Толстой и Розанов. Эти срывы суть факты не только биографические, но и культурно исторические. Религиозным типам Толстого и Розанова постигшие их катастрофы не имманентны. В другое время их духовных данных хватило бы на большее; и страсть к правде Толстого и розановская «богосвязанность» вывели бы их к иной, высшей цели.

П. П. Сувчинский